



Григорий ЧХАРТИШВИЛИ
КЛАДБИЩЕНСКИЕ ИСТОРИИ
Борис АКУНИН

Григорий Чхартишвили
Борис Акунин

КЛАДВИЩЕНСКИЕ ИСТОРИИ

© Борис Акунин, 2023

© eBook Applications LLC, 2023

Книга «Кладбищенские истории» представляет собой плод коллективного творчества, равноправного соавторства двух писателей — реального и выдуманного. Документальные эссе, автором которых следует считать Григория Чхартишвили, посвящены шести самым знаменитым некрополям мира. Эти очерки чередуются с беллетристическими детективными новеллами, написанными «рукой» Бориса Акунина, действие которых происходит на тех же кладбищах. Читателю предлагается увлекательная игра, затеянная «доктором Джекиллом и мистером Хайдом» современной русской литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

Разъяснение	6
Старое Донское кладбище (Москва)	
Был да сплыл, или Забытая смерть	14
Губы-раз, Зубы-два	24
Хаигейтское кладбище (Лондон)	
It has all been very interesting, или Благопри-стойная смерть	70
Материя первична	94
Кладбище Пер-Лашез (Париж)	
Voila une belle mort, или Красивая смерть	110
Дай мне поцеловать твои уста.....	140
Иностранное кладбище (Иокогама)	
Росё-Фудзё, или Внезапная смерть	192
Сигумо.....	212

Кладбище Грин-Вуд (Нью-Йорк)	
Are you ok, или Оптимистичная смерть.....	271
Unless	296
Еврейское кладбище на масличной горе (Иерусалим)	
Умер-шмумер, или Нестрашная смерть.....	323
Хэппи-энд	341

Разъяснение

Я писал эту книгу долго, по одному-два кусочка в год. Не такая это тема, чтобы суетиться, да и потом было ощущение, что это не просто книга, а некий путь, который мне нужно пройти, и тут вприпрыжку скакать негоже — можно с разбегу пропустить поворот и сбиться с дороги. Иногда я чувствовал, что пора остановиться, дожидаться следующего сигнала, зовущего дальше.

Дорога эта оказалась длиной в целых пять лет. Началась от стены старого московского кладбища и увела меня очень-очень далеко. За это время многое изменилось, «и сам, подвластный общему закону, переменился я» — раздвоился на резонера Григория Чхартишвили и массовика-затейника Бориса Акунина, так что книжку дописывали уже вдвоем: первый занимался эссеистическими фрагментами, второй беллетристическими. Еще я узнал, что я *тафофил*, «любитель кладбищ» — оказывается, существует

на свете такое экзотическое хобби (а у некоторых и мания). Но тафофилом меня можно назвать лишь условно — я не коллекционировал кладбища и могилы, меня занимала Тайна Прошедшего Времени: куда оно девается и что происходит с людьми, его населявшими?

Знаете, что кажется мне самым интригующим в обитателях Москвы, Лондона, Парижа, Амстердама и тем более Рима или Иерусалима? То, что большинство из них умерли. Про ньюйоркцев или токийцев такого не скажешь, потому что города, в которых они живут, слишком молоды.

Если представить себе жителей действительно старого города за всю историю его существования как одну огромную толпу и взглядеться в это море голов, окажется, что пустые глазницы и выбеленные временем черепа преобладают над живыми лицами. Обыватели городов с прошлым живут, со всех сторон окруженные мертвецами.

Нет, я вовсе не считаю старые мегаполисы городами-призраками. Они вполне живы, суетны и искрятся энергией. Речь о другом.

С некоторых пор я стал чувствовать, что люди, которые жили раньше нас, никуда не делись. Они остались там же, где были, просто мы с ними существуем в разных временных измерениях. Мы ходим по одним и тем же улицам, невидимые друг для друга. Мы проходим сквозь них, а за стеклянными фасадами новомодных строений мне видны очертания некогда стоявших здесь домов: классические фронтоны и наивные мезонины, чванные ажурные ворота и полосатые шлагбаумы.

Всё, что когда-то было, и все, кто когда-то жил, остаются навсегда.

Вам не случалось увидеть где-нибудь в густой толпе на Кузнецком Мосту или на Никольской невесту откуда взявшийся и тут же растаявший силуэт в шляпе-веллингтоне и плаще-альмавиве?

А прозрачный девичий профиль в чепце с лентами-мантоньерками? Нет? Значит, вы еще не научились видеть Москву по-настоящему.

Старинные города — это совсем не то, что города новые, которым каких-нибудь сто или две-сти лет. В большом и древнем городе родились, любили, ненавидели, страдали и радовались, а потом умерли так много людей, что весь этот океан нервной и духовной энергии не мог взять и исчезнуть бесследно.

Перефразируя Бродского, рассуждавшего об античности, можно сказать, что предки для нас существуют, мы же для них — нет, потому что мы про них кое-что знаем, а они про нас ровным счетом ничего. Они от нас не зависят. И городу, в котором они жили, тоже не было до нас, нынешних, никакого дела. Поэтому чем старше город, тем меньше обращает он внимания на своих теперешних обитателей — именно потому, что они в меньшинстве. Нам, живым, трудно удивить такой

город; он видел и других, таких же смелых, предприимчивых, талантливых, а может быть, те, умершие, были качеством и получше.

Нью-Йорк существует в том же ритме, что сегодняшние ньюйоркцы, он их современник, напарник и подельник. А вот Рим или Париж с равнодушной снисходительностью взирают на тех, кто развесил по старым стенам рекламы «Нескафе» и стирального порошка «Ариэль». Старинный Город знает: прокатится волна времени и смоеет с улиц всю эту мишуру. Вместо шустрых человечков в джинсах и пестрых майках здесь будут разгуливать другие, одетые по-другому, да и нынешние тоже никуда не денутся — лишь переселятся из одних кварталов в другие, подземные. Полежат там несколько десятилетий, а потом сольются с почвой и окончательно станут безраздельной собственностью Города.

Кладбища в мегаполисах обычно живут недолго: ровно столько, сколько нужно, чтобы за-

полнить могилами выделенную под погост территорию, да еще полсотни лет, пока не вымрут те, кто приходил сюда ухаживать за надгробьями. Через каких-нибудь сто-полтораста лет поверх костей нарастет слой земли, на ней раскинутся площади или встанут дома, а на окраинах расширившегося Города появятся новые некрополи.

Мертвецы — наши соседи и сожители. Мы ходим по их костям, пользуемся выстроенными для них домами, разгуливаем под сенью посаженных ими деревьев. Мы и наши мертвые не мешаем друг другу.

Под Парижем несколько лет назад было обнаружено целое царство кадавров — катакомбы, где лежат миллионы и миллионы прежних парижан, чьи останки были некогда перенесены туда с городских кладбищ. Любой может доехать до станции Данфер-Рошро, спуститься в подземелье и обозреть бескрайние ряды черепов, представить собственный где-нибудь в уголке, в семнадцатом ряду сто шестьдесят восьмым

слева и, возможно, внести некоторую корректировку в масштабирование своей личности.

Но возможность заглянуть в земные недра, где поселились жившие прежде нас, — это редкость. Парижанам, можно сказать, повезло. Чаще местом встречи с предшественниками для нас становятся чудом сохранившиеся старые кладбища, островки сгустившегося и застоявшегося времени, где давно уже никого не хоронят. Последнее условие обязательно, потому что разрытая земля и свежее горе пахнут не вечностью, а смертью. Этот запах слишком резок, он помещает вам уловить хрупкий аромат другого времени.

Если хотите понять и почувствовать Москву, прогуляйте по Старому Донскому кладбищу. В Париже проведите полдня на Пер-Ла-шез. В Лондоне съездите на Хайгейтское кладбище. Даже в Нью-Йорке есть территория остановившегося времени — бруклинский Грин-Вуд.

Если день, погода и ваше душевное состояние окажутся в гармонии с антуражем, вы почувствуете себя частицей того, что было прежде, и того, что будет потом. И, может быть, услышите голос, который шепнет вам: «Рождение и смерть — это не стены, а двери».

Старое Донское кладбище (Москва)

Был да сплыл, или Забытая смерть

От действующих московских кладбищ меня с души воротит. Они похожи на кровоточащие куски вырванного по живому мяса. Туда подъезжают автобусы с черными полосами по борту, там слишком тихо говорят и слишком громко плачут, а в крематорском конвейерном цехе четыре раза в час завывает хоральный прелюд, и казенная дама в траурном платье говорит поставленным голосом: «Подходим по одному, прощаемся».

Если вас без дела, из одной любознательности, занесло на Николо-Архангельское, Востряковское или Хованское, уходите оттуда не оглядываясь — не то испугаетесь бескрайних, до горизонта пустырей, утыканных серыми и черными камнями, задохнетесь от особенного жирного воздуха, оглохнете от звенящей тишины, и вам

захочется жить вечно, жить любой ценой, лишь бы не лежать кучкой пепла в хрущобе колумбария или распадаться на белки, жиры и углеводы под цветником ноль семь на один и восемь.

Новые кладбища ничего вам не объяснят про жизнь и смерть, только собьют с толку, запугают и запутают. Ну их, пусть чавкают своими гранитно-бетонными челюстями за кольцевой автострадой, а мы с вами лучше отправимся в Земляной город, на Старое Донское кладбище, ибо, по моему, во всем нашем красивом и таинственном городе нет места более красивого и более таинственного.

Старое Донское совсем не похоже на современных гигантов похоронной индустрии: там асфальт, а здесь засыпанные листьями дорожки; там пыльная трава, а здесь рябины и вербы; там бетонная плита с надписью «Наточка, доченька, на кого ты нас покинула», а здесь мраморный ангел с раскрытой книгой, и в книге сказано: «Блаженни плачущие, яко тии утешатся».

Только не забредите по ошибке на Новое Донское, расположенное рядом, за красной зубчатой стеной. Оно поманит вас луковками церкви, но это волк в овечьей шкуре — перелицованный Крематорий № 1. А у ворот вас улыбочиво встретит каменный Сергей Андреевич Муромцев, председатель Первой Государственной Думы. Не верьте этому счастливому принцу, который, как пчелка, впитал своей жизнью (1850–1910) весь мед недолгого российского европеизма и тихо почил до наступления неприятностей, должно быть, совершенно уверенный в победе русского парламентаризма и постепенном обрастании приятными соседями — приват-доцентами и присяжными поверенными. Увы — вокруг сплошь лауреаты сталинской премии, комбриги, аэронавты и заслуженные строители РСФСР. Пройдет время, и их надгробья со спутниками, рейсфедерами и звездами тоже станут исторической экзотикой. Но только не для моего поколения.

Нам с вами дальше, в другие ворота, увенчанные высокой колокольней. Москва, которую я люблю, похоронена там. Похоронена, но не мертва.

Впервые я почувствовал, что она жива, в ранней молодости, когда служил в тихом учреждении, расположенном неподалеку от Донского монастыря, и ходил с коллегами на древние могилки пить невкусное, но крепкое вино «Агдам». Мы сидели на деревянной скамеечке, напротив пыльного барельефа с Сергием Радонежским, Пересветом и Ослябей (он все еще там, на стену восстановленного храма Христа Спасителя так и не вернулся), закусывали азербайджанскую цыкуту сладкими монастырскими яблоками, и разговор непостижимым образом все выворачивал с последнего альбома группы «Спаркс» (или что мы там тогда слушали?) на Салтычиху и с джинсов «супер-райфл» на Чаадаева.

Петр Яковлевич покоился совсем неподалеку от заветной скамейки. Потомкам его могила

сообщала о человеке, который в Риме был бы Брут, а в Афинах Периклес, один-единственный факт: *«Кончил жизнь 1856 года 14 апреля»* — и это наводило на размышления.

Что же до Салтычихи, то на ее надгробии время не сохранило ни единого слова и ни единой буквы. Она существовала на самом деле, московская помещица Дарья Николаевна Салтыкова, замучившая до смерти сто крепостных, — вот единственное, что подтверждала могила. Но чудовища не поддаются дефиниции, устройство их души темно и загадочно, и самый уместный памятник монстру — фигура умолчания в виде голого серого обелиска, напоминающего силуэтом загнанный в землю осиновый кол.

В пяти шагах от места упокоения русской современницы маркиза де Сада из земли произрастает диковинное каменное дерево в виде сучковатого креста — масонский знак в память поручика Баскакова, умершего в 1794 году. Никакой дополнительной информации, жаль.

Надписи и неуклюжие стихи на могилах — чтение увлекательное и совсем не монотонное. Это не что иное, как попытка материализовать и увековечить эмоцию, причем попытка небезуспешная — скорбящих давно уж нет, а их скорбь вот она:

*«Покоится здесь юноша раб божий Николай.
От мира и забот его призвал Бог в рай».*

(От безутешных родителей почетному гражданину отроку Николаю Грачеву.)

Или совсем нескладно, но еще пронзительней:

*«Покойся милый прах в земных недрах,
А душа пари в лазурных небесах
Но я остаюсь здесь по тебе в слезах».*

(Уже не прочесть, от кого кому.)

Но любимая моя эпитафия, украшающая надгробье княжны Шаховской, не трогательна, а

мстительна: *«Скончалась от операции доктора Снегирева».*

Где вы, доктор Снегирев? Сохранилась ваша-то могилка? Ох, вряд ли. А тут, на Старом Донском, вас до сих пор поминают, пусть и недобрым словом.

Двадцать лет назад, когда я приходил сюда чуть не каждый день, мало кто заглядывал на это заросшее, полузабытое кладбище. Разве что гурманы москвоведения приведут гостей столицы, чтобы попотчевать их главной кладбищенской достопримечательностью — черным бронзовым Христом, вытянувшимся в полный рост в нише монастырской стены. У ног Спасителя уже тогда не переводились свежие цветы, а меня этот во всех отношениях замечательный памятник русского модерна совсем не трогал — очень уж изящен и бонтонен.

Грешен — не люблю достопримечательностей. Очевидно, оттого, что они слишком отполированы взглядами, про них и так всё известно, в них нет тайны. На указателях Донского могильника можно найти некоторое количество известных имен: историк Ключевский, поэт Майков, архитектор Бове, казак Иловайский 12-ый, но абсолютное большинство здешних покойников ничем себя не прославили. Славных да громких в ту пору хоронили в Петербурге, а здесь Москва, провинция. Пышность отдельных надгробий не должна вас обманывать — это свидетельство богатства, но не жизненного успеха. Бог весть сколько неудавшихся карьер и ненасытившихся честолубий похоронено на Старом Донском. Глядишь на все эти облупившиеся гербы да полустершиеся титулы и вспоминаешь датского короля Эрика Достопамятного, от которого осталось лишь звучное прозвище, а почему современники считали его таким уж достопамятным, история как-то не запомнила.

Мои избранники никому кроме меня не нужны. Их имена не гремели, пока они жили, а когда умерли, то кроме камня на могиле в этом мире ничего от них не осталось. Девушка Екатерина Безсонова 72 лет от роду, скончавшаяся 1823 года пополуночи в 8-ом часу, и статский советник Гавриил Степанович Карнович, отлично-добродетельно истинно по-христиански всегда живший, завораживают меня загадкой своей исчезнувшей жизни. Лаконичнее всего это ощущение выражено в хайку Игоря Бурдонова «Малоизвестный факт»:

Все они умерли —

Люди, жившие в Российском государстве

В августе 1864 года.

Они и в самом деле все умерли — говевшие, делавшие визиты, читавшие «Московские губернские ведомости» и ругавшие коварного Дизраэли. Но на Старом Донском кладбище меня охватывает острое, а стало быть, безошибочное

чувство, что они где-то рядом, до них можно дотянуться, просто я не знаю, как поймать ускользнувшее время, как зацепить тайну за краешек.

Он, этот краешек, совсем близко — кажется, еще чуть-чуть и ухватишь. Близок локоть...

И я сочиняю романы про XIX век, стараясь вложить в них самое главное — ощущение тайны и *ускользания времени*. Я заселяю свою выдуманную Россию персонажами, имена и фамилии которых нередко заимствованы с донских надгробий. Сам не знаю, чего я этим добиваюсь — то ли вытащить из могил тех, кого больше нет, то ли самому прокрасться в их жизнь.

Губы-раз, Зубы-два

Пару лет назад в Москве пропал человек. Без вести. Дело небольшое, у нас в столице, согласно статистике, ежегодно исчезает до трех тысяч граждан обоего пола, но этот был не бомж и не склерозная старушка, а капитан милиции, слушатель криминологического факультета Правово-охранительной академии МВД. Анкетные данные такие: Николай Виленинович Чухчев, русский, 1970 года рождения, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Когда Чухчев не явился ночевать в общежитие, чего с ним никогда прежде не бывало, а назавтра без уважительной причины пропустил занятия, в академии забеспокоились. Все-таки офицер милиции. Мало ли что. Собирались объявить в розыск, но в это время начальнику поступила секретная рекомендация Откуда Следует:

слушателя Чухчева не искать, шума не поднимать, и домыслов строить тоже не посоветовали. Потому что Государственная Тайна.

Раз Государственная Тайна, делать нечего: исключили капитана из списков, место в общезнании отдали другому офицеру, а вещи личного пользования сложили в чемодан и убрали в кладовку, потому что близких родственников у Чухчева не имелось.

В общем, жил человек — и, как говорится, ушел под воду без всплеска, растворился без осадка. А человек, между прочим, был особенный.

То есть, безусловно, все люди особенные. Со стороны оно, может, и не всегда видно, но это сто процентов. Каждый в глубине души про себя знает, что он совсем не такой, как другие. Николай это тоже признавал, но в отличие от большинства людей были у него на то кое-какие объективные причины. Возможно, не такие уж объективные, а просто случайность, однако сам он в своей

особости не сомневался и младшему лейтенанту Лисичкиной, которая в последнее время ему очень нравилась, говорил: «Я верю в свою Звезду».

Особость состояла в том, что Чухчев был Человеком, Который Находит Клады. Правда, пока что клад ему попался всего однажды, но зато в возрасте, когда формируются ориентиры — в четырнадцать лет.

В городишке, где рос Колька, была заброшенная штольня. Во время войны немцы там держали склад, а когда отступали, всё к черту перезаминировали. Нашим потом возиться было лень и незачем — посадили железную дверь, чтоб пацаны не лазили, навесили щит с черепом и надписью «Посторонним вход воспрещен», да и забыли. Сорок лет дверь ржавела-ржавела, а потом как-то утром Колька идет с речки — вдруг видит: замок с петель сам собой свалился, и в щелку видать черную пустоту.

Парень он был любопытный и не робкого десятка. Полез. Думал, может, каску немецкую добудет или, если повезет, рожок от «шмайссера». Те же мины, если их осторожненько вынуть и аккуратненько разобрать, очень могут пригодиться для рыбалки.

По всему следовало Кольке в этой гиблой штольне подорваться, но здесь-то и проявилась его Звезда. Это благодаря ей он не зацепился ногой за усик выпрыгивающей «SMi-35», не наступил на пружину бетоннометаллической «Штокмине», а вместо этого нашел в полусгнившем снарядном ящике небольшую, так примерно тридцать на сорок, коробку, всю набитую золотыми украшениями. Должно быть, припрятал какой-нибудь полицай до лучших времен, а вернуться за кладом у гада не получилось.

Будь Колька Чухчев умудренней годами и жизненным опытом, он никому бы о своей находке не рассказал, попробовал бы толкнуть

золотишко без шума, малыми порциями, но какой с мальчишки спрос? Нахвастал, раззвонил на весь город.

Короче, коробку забрали в милицию, про героического Кольку написали в газете, дали ему похвальную грамоту и вознаграждение, согласно закону: четверть госстоимости по цене золотого лома, 784 рубля с копейками. Он купил себе мопед «Верховина» и чехословацкий спиннинг, а остальное отдал матери.

Такой вот уникальный случай произошел с Чухчевым в подростковом возрасте.

Тогда же определился у него и выбор в плане жизненного пути. Решил Коля, что станет сотрудником правоохранительных органов. Во-первых, пускай и дальше у него всё будет по закону. Во-вторых, милиционеру можно туда, где посторонним вход воспрещен, а клады, как известно, водятся только там, куда абы кого не пускают. Ну а в-третьих, не в шахтеры же идти.

В дальнейшие годы Чухчев существовал вроде бы обыкновенно: служил в армии, учился в милицейской школе, женился-развелся, трудился в паспортном столе, выбился в московскую академию, однако всё это была внешняя жизнь, неглавная. Суть же состояла в том, что Николай глядел в оба. Нужно было не облажаться, когда Звезда выведет его к Настоящему Кладу. И Чухчев верил, что не облажается.

Учиться в академии капитану нравилось. Не только потому, что через нее открывался путь к служебному повышению и даже, может быть, к переводу на постоянную работу в столицу либо ближнее Подмосковье, а потому, что академия располагалась на территории бывшего монастыря, в самой старинной части Москвы. Судя по увлекательной книжке «Подземные клады Белокаменной», земля тут была буквально изрыта тайными ходами и схронами, в которых москвичи прятали свое добро то от татар, то от поля-

ков, то от французов, то от коллег-предшественников капитана Чухчева. Взять хоть этот самый монастырь имени отсекования головы Иоанна Предтечи. До 1918 года здесь квартировали монахини. Барыни и купчихи ради спасения души дарили им золотые оклады для икон, пудовые серебряные подсвечники и прочие ценные предметы церковного обихода. Когда советская власть придумала передать недвижимость, очень кстати огороженную каменной стеной, в ведение ЧК-ОГПУ, монастырь прикрыли. Пришли за драгметаллами — а ни черта нет: одни голые стены. Попрятали куда-то монашки всё свое добро.

Спрашивается, куда? Не по улицам же революционной столицы таскали они злато-серебро?

Здесь оно где-то, родимое, чувствовал капитан, присматриваясь к келейному корпусу, где раньше была тюрьма, а теперь склад учебных по-

собий. Или здесь (это он думал уже про обветшавшую церковь, что стояла на крепком, глубоко осевшем фундаменте).

В общем, нельзя сказать, чтобы всё произошло совсем уж случайно. Кто знает, куда смотреть, рано или поздно увидит то, что хочет увидеть.

Короче, восьмого декабря, в полвторого дня, в перерыве между занятиями, прогуливался Николай возле храма. Жевал бутерброд с колбасой, пил сок из пакета, глазел по сторонам — всё как обычно.

Вдруг видит, двое рабочих у самой стены траншею роют — кабель класть. Подошел, стал смотреть. Сообразил: ага, это они из-за оттепели, торопятся, пока земля снова не задубела. Надо сказать, что в том декабре оттепель была просто невиданная: снег весь потаял, в отдельных районах города столбик термометра днем поднимался до десяти градусов Цельсия.

Капитан следил, как лопатные штыки входят в рыжую почву, и сердце у него колотилось быстрее обычного. Он представлял, как из-под комьев глины покажется черная крышка сундука или шоколадный бок кувшина. Чуть-чуть, самый краешек. Тут, пока работяги не заметили, Николай крикнет: «А ну, валите отсюда, здесь копать нельзя, режимный объект». Они пойдут за бригадиром или кто там у них, он быстренько спрыгнет в яму, и...

Дальше домечтать Чухчев не успел, потому что лопата противно скрежетнула — вроде бы по фундаменту церкви, но звук показался капитану не каменным, а железным.

И точно: из земли торчал ржавый угол, на котором явственно просматривалась заклепка. К белокаменному поду церкви был не то прислонен металлический щит, не то — спокойно! — это торчала верхушка засыпанной двери.

Николая кинуло в пот. А рабочие знай машут себе лопатами, даже не оглянулись.

Здесь Чухчев проявил волевые качества, отмеченные и в его служебной характеристике: дождался, когда копальщики уйдут обедать, хотя самого прямо колотило от нетерпения.

Соскочил в канаву. Поскреб дощечкой. Точно — дверь. До самого верху завалена всякой дрянью: щебенка, гнилые щепки, куски штукатурки. Похоже, нарочно вход маскировали.

Николай подобрал лопату, быстро-быстро раскидал мусор, примерно на полметра вглубь.

Потом взял лом, сунул в щелку, навалился. Из прорехи потянуло сладковатой затхлостью. Именно так должно было пахнуть Место, Где Спрятан Клад.

Капитан засыпал всё обратно, сверху для верности еще понакидал земли. Теперь требовалось дождаться ночи, когда во дворе будет пусто.

Пока не закрылась проходная, Чухчев сбегал в общежитие. Переоделся в старую форму, которой теперь пользовался только для практических занятий типа учебной облавы в бомжатнике,

натянул кирзачи, сунул в сумку саперную лопатку и хороший фонарь «Туса» — товарищи подарили на тридцатилетие, для ночной рыбалки.

До вечера потерся в учебном корпусе, потом двинулся к выходу, вроде как со всеми, однако по дороге свернул в сторону и вдоль стенки, вдоль стенки, на хоздвор.

Промаялся в глухом углу, забравшись в кабину списанного «зила», до одиннадцати, и лишь когда на территории стало совсем тихо, приступил к делу.

За часы ожидания энергии в капитане накопилось столько, что полутораметровую яму он вырыл минут за пятнадцать. Старинная дверь обнажилась полностью. Была она хоть и поеденная ржавчиной, но крепкая, не то что штольненская, халтурного послевоенного производства. Однако Чухчев и эту уделал в пять секунд — так рванул створку, что она чуть с петель не слетела.

Пригнувшись, шагнул в темноту, прикрыл за собой дверь и лишь тогда включил «Тусу».

Увидел под ногами ступеньки. Спустился — и хорошо спустился, метров на семь-восемь. В подвал (или, если по-историческому, «подклет»), который под церковью, Чухчев уже раз наведывался, однако ничего интересного там не обнаружил — только пыльные полки с архивной канцелярией. Но подземелье, в которое он попал теперь, явно находилось ниже.

Луч пошарил по клочьям паутины на сводчатом потолке, по грязно-белым стенам, по битому кирпичу на полу.

Тихо было до того, что капитан отчетливо слышал стук собственного сердца.

Спокойно, Коля, сказал себе Чухчев, не гони волну. Раз вход сюда засыпали, значит, было чего прятать. Будем искать. Согласно установленному порядку произведения обыска замкнутого помещения — от угла и по часовой стрелке, метр за метром.

Стенка, с которой было решено начать досмотр, капитана озадачила. Она была вся в мелких выбоинах, очень знакомого вида. Приглядевшись, Николай понял: следы от пуль, револьверных или пистолетных. Сначала удивился, но когда заметил на полу, в пушистой пыли, россыпь ржавых гильз, загадка объяснилась.

Ёлки, это ж расстрельный подвал. Раз в монастыре была чекистская тюрьма, то, конечно, чистые руки-горячее сердце мочили тут врагов революции. В те времена особо не церемонились, условно-досрочными не баловали. Теперь понятно, почему подвал закупорили и дверь завалили.

Ужас как разочаровался капитан Чухчев.

Ну и, конечно, не по себе стало. Человек он был не то чтобы нервный или впечатлительный, но по-своему чуткий. Не в смысле сентиментальности, а в смысле остроты чутья. Когда столько лет высматриваешь вокруг тайные, одному тебе заметные знаки, эта мистика даром не проходит.

И слышались Николаю типа крики, стоны, эхо выстрелов, даже вроде как матюгом шумнуло. Он уж хотел уносить ноги из этой поганой ямы, да Звезда не пустила. Шепнула на ухо: загляни-ка, Коля, вон в тот дальний угол.

Чухчев прогнал из психики несуществующие звуки и двинулся в указанном направлении.

Там, в углу, было очень нехорошо. Капитан затруднился бы объяснить, откуда у него возникло такое ощущение, но по коже пробежали мурашки.

Ну, стена, посветил фонарем Николай, пытаюсь уразуметь, в чем дело. Ну, плесень. Мышиный помет. Скорее, крысиный — больно катышки здоровые.

Издали донеслось «бом-бом-бом» — это часы на монастырской колокольне начали отбивать полночь.

Чухчев потер пальцем под усами, потом по передним зубам — была у него такая привычка, если сильно над чем-нибудь задумается.

— Губы-раз, зубы-два, — донесся вдруг из стены тихий, но отчетливый шепот.

И еще какое-то бормотание, почти совсем неслышное.

— А? — спросил капитан, отшатнувшись. Впереди-то ничего не было, совсем ничего!

Одна стена.

Вдруг откуда-то (из щелей в кладке, что ли?) пополз туман — не туман, дымка — не дымка, а может, это у Николая от потрясения в глазах поплыло, только видимость сделалась почти что нулевая. Воздух заколыхался, в луче взвихрились белые крошки, а потом муть рассеялась, и милиционер увидел в стене, прямо перед собой, проем, которого раньше тут не было.

— Блин, — сказал Чухчев, потому что принципиально не употреблял нецензурных выражений, и уронил свою «Тусу» на каменный пол.

Фонарь не разбился, но откатился в сторону и стал светить в постороннем направлении, поэтому кто там, в дыре, Николай не разглядел.

А там явно кто-то был.

В нос капитану шибануло кислым смрадом, обдало холодом, будто из открытого рефрижератора, и донесся свистящий шепот (вроде женский):

— Ктойта? Эй, ктойта?

— Капитан Чухчев, — строго ответил Николай, лихорадочно соображая, как бы представить свое подвальное пребывание в официальном смысле.

В общем-то, это было нетрудно. Представитель власти имеет право заходить, куда хочет, если подозревает какой непорядок. А тут безусловно присутствовал непорядок, хоть и не очень понятно, какой именно.

— Капитан Чухчев? — выдохнула тьма. — Капитан Чухчев?! Николушка, ангел мой! Пришел, сокол! А я уж не чаяла!

Говорила старуха, теперь он это точно разобрал. Во-первых, голос был надтреснутый, во-вторых, с шамканьем — вместо «капитан Чухчев» получилось «капитан Тюхчев» или даже «Тютъчев».

Холодный ветерок щекотнул Николая по щеке, вонища усилилась — кажется, старушенция решила подобраться к капитану поближе.

— Но-но, — сурово предупредил он на всякий случай и нагнулся за фонарем. — Проверка паспортного режима. Документы!

Тут, что называется, возникали вопросы. Во-первых, что за личность. Во-вторых, как попала в засыпанный подвал. Выходит, в него что, есть лаз с другой стороны? В-третьих, куда подевался кусок стены? В-четвертых, откуда старушка его по имени знает. «Николушкой» Чухчева никто не называл, даже в детстве — всё больше «Колькой», мать «Колюнчиком», а бабуля «Коликом-кроликом».

— Не признал свою Дарьюшку? — трепетал и всхлипывал голос. — Ох, ждала я тебя, ненаглядного, ох, ждала, немилосердного! Что грехов-то на душу взяла! Без разума и грех не в грех, а разум мой ты с собой забрал. Когда бросил меня, на молодую, желтоволосую променял! Всех бы их, лярв желтоволосых, в клочья разодрать, в кипятке сварить, утюгом пожечь! Да разве всех изведешь?

И столько в этом захлебывающемся шипении было злобы, что у Чухчева разжались пальцы, и фонарь снова выпал.

— Но и меня мучили, ах мучили! — Старуха перешла с гадючьего шипения на плач. — По все годы в темнотище, на сухой корочке. А людишки черные через решетку дразнятся, пироги подовые показывают да приговаривают: «Салтычиха-балтычиха и висоцкая дьячиха, Васильевна, Савишна — давишня барышня! А у нас пироги горячи, с рыбкой, с вязичкою, с говядиной, с яичком. Пожалте, у нас для вас в самый раз! В нашей

лавке атлас-канифас, шпильки-булавки, чирьи-бородавки...» Я на них зверем рычу, матерно лаюся, а они хохочут. «Ты не баба, говорят, ты мужик, про то указ читан. Сыми портки, похвастайся! Как на ты солдат-то влез?» Что я от солдата понесла, так это я не виноватая, ты злым языкам не верь. Снасильничал он меня, когда я обессиленным лежала, влихоманке. Я, Николушка, амантик мой, одного тебя обожаю...

В бредятину Чухчев почти не вслушивался. Он уже вычислил, что это за чучело. У монастырской стены недавно часовню открыли, так возле нее полно всякой пьяни-рвани кормится, милостыню кланчит. Вот и старуха эта наверняка оттуда же. Реально трёхнутая, на всю голову, раньше таких юродивыми называли. И еще блаженными, как церковь на Красной площади. Днем старуха, надо думать, на улице торчит, а на ночь в подвал уползает.

Капитан совершенно твердой, уже несколько не дрожащей рукой подобрал фонарь, посветил —

и версия подтвердилась. У стены покачивалась высоченная старуха, костлявая, как Баба Яга, с горящими черными глазищами, короче — самая распоследняя бомжиха: сверху какие-то тряпки намотаны, снизу широкие штаны с пузырями на коленях, вроде старых китайских треников, а на ногах драные соломенные тапки.

— Свет-то от тебя какой, будто от того! — осклабилось страшилище и потянулось к капитану корявыми лапами. — Это он тебя послал, да?

— Рруки убрала! — прикрикнул Чухчев, ежась от холода. Как она тут ночует, как не замерзнет к чертовой матери? — Кто послал? Куда послал?

— Который стекло сторожит, — непонятно объяснила бомжиха. — Он, больше некому. Освети себя, Николушка. Дай полюбоваться личиком сахарным. Истосковалась я. — И вдруг всплеснула руками, заполошилась. — Ах, дура я, дура! Что ж это я неприбрана, нечесана, в чем

была! А сама удивляюсь, что ты меня не приголубишь, слово ласковое не скажешь. Не гляди на меня, медовенький, я сейчас, сейчас!

Она махнула перед собой, и снова, как пять минут назад, воздух поплыл, затуманился, но теперь совсем ненадолго.

— Вот теперь гляди на свою Дарьюшку! Дымка рассеялась, и Чухчев увидел вместо старухи еще молодую, но сильно некрасивую женщину — черноволосую, мясистую, нос картошкой. Самое чудное, что была она не в лохмотьях, а в длинном нарядном платье с глубоким-преглубоким вырезом, и в вырезе колыхался бюстище номер на пятый, если не на шестой. И пахло теперь не кислятиной, а резким цветочным ароматом.

Тут Николай, хоть и храбрый человек, фонарь обронил (уже в третий раз), повернулся и дунул к лестнице. Сам не помнил, как вылетел из подвала, а вслед ему неслось:

— Стой! Куда? Ведь сто лет теперь не свидимся!

Это, значит, было ночью восьмого декабря, даже уже девятого, потому что когда Чухчев вылез из ямы, он первым делом посмотрел на часы — по милицейской привычке: если какое происшествие, сразу протокол составлять. Было одиннадцать минут первого.

Постояв в траншее и малость успокоившись, капитан объяснил себе, что с ним произошла галлюцинация, малоизученное наукой явление. Но назад в подвал не полез — куда без фонаря? Завалил железную дверь мусором, решил, что заберет «Тусу» завтра.

До утра проворочался в кровати. Пару раз задремывал, но ненадолго — вскидывался в холодном поту, с криком, а что за кошмар приснился, вспомнить не мог.

Назавтра вместо первой лекции пошел в читальный зал, попросил книжку по москвоведению, нашел про Иоанно-Предтеченский монастырь, про старую церковь, стал читать.

Выяснилось, что собор не такой уж и старый, всего сто тридцать лет как построен. До него здесь другой храм стоял, древний. В 1860 году прежнюю церковь разобрали, поставили на старинном фундаменте новую. Сэкономили, стало быть, на нулевом цикле строительства.

Дальше лирика пошла — про княжну Тараканову, про Христа ради юродивую Марфу, про страшную душегубицу Салтычиху...

Дойдя до этого места, Николай так и вскинулся. Вспомнил, как ночное чудище бормотало: «Салтычиха-балтычиха», и еще что-то такое. Зашустрил глазами по строчкам, но про Салтычиху в книжке было мало: жестокая крепостница, заточена в монастырскую тюрьму, где и умерла.

— Мне бы энциклопедию, какая побольше. На букву «Сэ», — попросил Чухчев библиотекаря.

Получил толстенный том, поискал «Салтычиху», нашел.

Статья была такого содержания:

«Салтычиха — настоящее имя Салтыкова Дарья Николаевна¹. Вдова гвардии ротмистра, богатая помещица Московской, Вологодской и Костромской губерний. В течение 7 лет (1756–1762) замучила до смерти 139 человек, преимущественно светловолосых женщин и девочек. Запарывала или забивала жертв до смерти, обливала кипятком, жгла утюгом, подпаливала волосы. Припадки изуверской жестокости стали случаться с С. после того, как ее бросил любовник, капитан Николай Тютчев, дед выдающегося поэта Ф.Тютчева. Сначала С. пыталась убить капитана и его молодую жену, а когда супруги спаслись бегством, стала срывать злобу на своих беззащитных слугах. Крепостные пробовали жаловаться, но С. откупалась от властей взятками. Наконец в 1762 г. двое крестьян, у которых она убила жен, добрались до самой императрицы, и та велела Юстиц-коллегии произвести строгое расследование, продолжавшееся 6 лет. Суд приговорил злодейку к смертной

¹ Март 1730 — 27.11(9.12) 1801, по другим данным, 1800

казни и конфискации всего имущества. Однако С. успела спрятать сундуки с золотом и не выдала местонахождение клада даже под пыткой. Екатерина Вторая сочла, что подобной «монстре» быстрой казни будет мало и постановила: «1. Лишить ее² дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она никогда никем не была именована названием рода ни отца своего, ни мужа. 2. Приказать в Москве вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами: «Мучительница и душегубица». 3. Когда выстоит час она на сем поносительном зрелище, то, заключа в железы, отвести в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой по смерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела». Кроме того, С. была сочтена недостойной

² Салтыкову

считаться особой «милосердного» пола, вследствие чего постановили впредь именовать «сие чудовище мущиною». Была заключена в подземную тюрьму Иоанно-Предтеченского девичьего монастыря, где сидела в особом подвале, на долгие годы превратившись в одну из московских достопримечательностей. Родила ребенка от караульного солдата, однако снисхождения этим не заслужила. Впрочем, за все тридцать с лишним лет заключения, вплоть до самой смерти, С. не проявляла никакого раскаяния в совершенных злодеяниях. Похоронена родственниками на кладбище московского Донского монастыря».

В процессе чтения Чухчев испытывал разнообразные, но сильные чувства. Мысли же в голове прямо искрили. Сначала-то, пока читал про зверства, подумал просто: «Вот гадина». Но сразу за тем наткнулся на капитана Николая Тютчева — и давай пальцем губы-зубы тереть. Глаза сами собой заморгали, на нервной почве.

Душно стало капитану, нечем дышать.

Что же это получается, сказал он себе. Она, садистка эта, тут в подвале, под церковью, сидит? А в энциклопедии написано «похоронена на кладбище»?

Отпросился с занятий, сгонял на Донское. Нашел по схеме нужную могилу, постоял возле камня, прикидывая, нельзя ли как-нибудь организовать эксгумацию.

Но затея была дурная, это он быстро сообразил. Во-первых, целый геморрой бумажки оформлять. Во-вторых, так можно и на психобследование загреметь. А в-третьих, вообще на хрена?

Будем называть вещи своими именами: в могиле лежат кости (и пускай себе лежат), а в подклете было привидение.

Лет этак пятнадцать назад подобная идея Николаю в голову нипочем бы не пришла. В детстве он твердо знал, что Бога нет, а теперь с этим как-то неявственно стало. Даже у начальника Академии в кабинете рядом с президентом Путиным

икона висит. Теперь это для службы ничего, даже полезно. Да и половина ментов с крестами наше ходит. Такая вот нематериалистическая картина мира складывается. А если есть рай и ад, то почему бы и привидениям не быть?

Не мог Чухчев, как хорошо успевающий по аналитической криминалистике, упустить из виду и такой существенный факт: девятого декабря, то есть сегодня, исполнялось ровно двести лет, как эта самая Салтычиха откинулась, в смысле умерла. Может, их, привидения, раз в сто лет на прогулку выпускают, по случаю юбилея? Даром что ли она кричала: «Теперь сто лет не свидимся?» Пускай бы и тысячу лет, Николай не возражал.

Хотя это как посмотреть.

Звезда ведь не зря велела ему в нехороший угол заглянуть. Не чтоб попугать или посмеяться. В энциклопедии что написано? Спрятала полоумная баба сундуки с золотом, никому не отдала. Потому, может, и нет ее душе покоя — стережет

свое добро. Два с лишним века лежит где-то золото, дожидается нового хозяина. Уж не капитана ли Чухчева?

И ведь как удачно всё сходится, одно к одному.

Салтычиха эта любовника своего не забыла, до сих пор по нему сохнет, так?

Если кому сокровище и отдаст, то только «Николушке», так?

А Чухчев, между прочим, тоже Николушка, тоже капитан и даже почти что Тютчев.

Попросить ее как следует — глядишь, и скажет, где клад. Только бы не расколола, а то обидится, запсихует. Женщина она с характером, лучше не нарываться.

Риск, конечно, есть, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

На всякий случай Чухчев принял меры предосторожности, общим числом три.

Первое — сунул в карман образок. Во внутренний, чтобы сразу не отпугнуть нечистую силу, а понадобится — вытащим.

Второе — прихватил табельное оружие, причем пули покрыл серебряной краской.

Третье — одолжил у Сереги Волосюка треугольную шляпу, какие при Петре Первом носили. Это Серега в прошлом году с волейбольной сборной МВД в Венецию ездил и купил там — на Новый Год надеть или так, поприкалываться. Если нацепить треуголку пониже, авось не расколется. Вряд ли у нее, Салтычихи этой, хорошее зрение в таком-то возрасте. Опять же темно.

В общем, хорошо снарядился, так что лез в подклет без страха. Боялся одного — что привидение не появится. Поэтому уже в пол-одиннадцатого, за полтора часа до того, как истечет девятое число, был на месте.

Пощелкал зажигалкой, нашел «Тусу», но луч сделал самый слабый, рассеянный. Лишнее

освещение липовому капитану Тютчеву было ни к чему.

Только зря всё это было — не вышла к Николаю ни оборванная старуха, ни мясистая тетка в нарядном платье.

Он уж топтался-топтался у заветного угла. И в кирпич стучал, и даже звал: «Дарьюшка, это я, Коля Тютчев». Пару раз из-за стены будто послышалось что-то. А может, показалось.

Время, между тем, на месте не стояло. До полуночи оставалось всего ничего.

Встав перед стеной, капитан сосредоточенно потер губу, облизнул палец о зубы, сплюнул.

И вдруг слышит, точь-в-точь как вчера: «Губы-раз, зубы-два, помогай разрыв-травы...» И дальше еще что-то, но уже не разобрать.

— Дарья Николавна! — заорал Чухчев. — Дарьюшка! Здесь я! Давай сюда!

Стену заволокло паром, закружилась белесая муть, и вот уже стояла перед капитаном мертвая помещица, тянула к нему голые толстые руки.

Героический был мужчина этот Тютчев, подумал капитан, потому что и в молодом своем виде была Салтычиха, прямо сказать, не Мерилин Монро.

— Николушка, лапушка! — прошелестело привидение. — Вернулся! Уж и не чаяла!

Видя, что дело идет к объятьям, Чухчев поневоле зажмурился, но ничего особо страшного не случилось — только прошел озноб по плечам да похолодило щеку.

— Я на кладбище был, — сказал Николай, чтобы перевести встречу в конструктивное русло. — Венок на могилу возложил.

— Там, на погосте, костяк один, — равнодушно ответила покойница, подтверждая его версию. — А мне самой, когда померла, велено тут состоять, при месте земного наказания.

— Чего там бывает-то, после смерти? — спросил Чухчев, прикидывая, как бы половчее повернуть к главному — про клад.

Салтычиха удивилась:

— Нешто не знаешь? Иль у тебя не так было? Хотя что ж стеклу тебя не пущать, ты-то не лютовал, душу грехом не тяжелил. Все бремена на одну меня легли...

Последнее было сказано с явной обидой, от призрака во все стороны брызнули маленькие багровые искры, и Николай поскорей сунул левую руку за пазуху, где иконка, а правую в карман, где ПМ с серебряными пулями.

Но видение уже успокоилось, гнев сменился печалью.

— Не виноват ты, Николушка. Все мушкетеры в любви трусы, душу свою берегут, прячут. Баба если уж полюбила, ей всё нипочем, душа — не душа. Я про свою ни разу и не вспомнила, расплаты не утратилась. Одного лишь сердца слушалась. А как отмучилась, тело свое постылое,

безобразное покинула, за всё ответить пришлось. Ты, когда помер, через черную трубу летел?

— Само собой, — осторожно кивнул Чухчев.

— А свет потом узрел?

— Ну.

— И как? Поди, на волю вылетел? — Салтычиха вздохнула. — А моя душа не сумела, больно в ней тяготы много. Гляжу — приволье, всё зеленое и голубое, и свет радужный по-над плёсом. Так хочется туда, так хочется! И вижу, уж гуляют там всякие, и звуки сладкие несутся! Разлетелась, разогналась — да с размаху об стекло. Не могу дальше. Бьюся, как муха на окне, а пути мне нет. Мимо другие души пролетают, кто тихо, кто с дребезжанием, иные тоже сначала поколотятся, поплачут — и пустит их стекло, а меня никак... Потом голос слышу. Шармантный такой, только шибко грустный. «Не пройдешь, дочка, и не думай. Душа у тебя тяжелая. Покаяться надо». Я кричу: «Пусти, дедушко, не в чем мне каяться! Ты

людей любви учил, так я, может, сильнее всех на свете любила, души своей заради любви не пощадила! Пусти погулять по шелковой траве-мураве!» «Я-то что, говорит, это ты сама себя не пускаешь. Покаяться надо, Дарьюшка». Я ему: «Ну каюсь, ка-юся! Отворяй скорей окошко! Буду там, на приволье, моего Николушку поджидать!» Только не было мне на это никакого ответа. Долго не было. Потом слышу: «Через сто лет приходи. Раньше никак нельзя». И сизнова я в свою яму попала. Вход уж успели камнем заложить, чтоб темница кровопивной Салтычихи Божий мир не поганила. Знаешь ли ты, друг мой сердешный, что такое сто лет в каменном мешке сидеть? Да без сонной отрады, без пятнышка света? Каждый час, каждая минутка вечностью предстают. Одним спасалася — о тебе, ангел мой, думала. Всё терзалася, любил ты меня иль нет? Ну хоть недолго, хоть денек? Сто лет об стены билась, всё повторяла: любил — не любил. А как миновал

назначенный срок, на самом исходе дня, в полночь, свод расступился, и полетела я над крышами-куполами, над башнями-облаками. И вижу трубу, и свет в ней, и по ту сторону чудесный луг. Но снова не попустило стекло проклятое. А Голос сказал: «За многая любовь и многая мука — многое же и простится. Но не покаялась ты. Через сто лет приходи». Сызнова я тут очутилася. Опять твержу: любил — не любил, любил — не любил. Только вторые сто лет еще горше первых оказались. Сейчас в третий раз полечу, счастье спытаю, но ныне не страшуся. Раз тебя, голубчика моего, узрела, значит, пустят меня!

Услышав про «полечу», Чухчев вострепнулся, на часы посмотрел. Без семи двенадцать, а он уши развесил. Улетит сейчас страшилище и неизвестно, вернется ли. Может, ей срок скостят или режим поменяют — типа со строгого на обычный. Не вернется в этот изолятор, так про клад и не узнаешь.

Ну, и взял быка за рога.

— Слушай, Даш, а куда ты сундуки с золотом попрятала? Просто интересно. Тут без тебя их искали-искали — без толку.

Затаил дыхание: скажет, не скажет?

— Добро-то? Блюда золотые, жемчуга с алмазами и смарагдами да сорока соболя? — спросила Салтычиха. — Знатно спрятала. Ни в жизнь никто не сыщет.

Соболя-то, конечно, сгнили, а вот камни и золотая посуда — это то, что надо, сглотнул Чухчев.

— Тебе, сахарный мой, расскажу. Усадьбу мою, что на Кузнецком мосту, помнишь? Вот как если от Лубянки смотреть: по правой стороне улицы дом со службами, а по левой — сад с огородами. Там, в саду, колодезь старый, высохший. Помнишь? Ты мне еще подле него цветок шиповниковый сорвал. Я его после в хрустальной шкатулочке держала.

— Помню-помню, — поторопил ее Николай. — Дальше что?

— Думаешь, пошто я колодезь пустой зарыть не велела? Я туда мертвяков кидала, до полуста раз, а полиции объявляла, что беглые. Там глыбко — дважды по двенадцат саженой. Как узнала я от верного человека, что враги мои завтра придут меня в железа брать, спустила сундуки вниз. Сеньке, Прошке да Тимошке, слугам моим верным, приказала землей да хворостом закидать.

Всю ночь они сыпали. А на рассвете, когда работы уж мало осталось, я их отравой опоила и туда ж сбросила. Доверху уж сама досыпала.

— Колодец слева от Кузнецкого? — соображал капитан. — Я чего-то не припомню, Даш, далеко он от проезжей части?

— От чего, сладенький?

— Ну, от улицы.

— От угла Лубянки тридцать пять шагов. И после влево еще двенадцать. Я запомнила.

«Так, план Москвы восемнадцатого века достать не проблема, — прикидывал Чухчев. — Ну,

пара метров туда-сюда, неважно. Главное, за кем числится землевладение. Тут откатывать придется, пятьдесят на пятьдесят, иначе не выйдет».

И здесь его прошибло.

— Слева по Кузнецкому? — ахнул Чухчев. — Тридцать пять шагов? Так это ж Контора!

Мертвая помещица его о чем-то спрашивала, тянула к лицу ледяные, бесплотные руки, а у капитана в голове скакали беспорядочные, ни к селу ни к городу мысли. Такого примерно плана: вон оно как всё на свете — вроде само собой, а только ни фига подобного. Если где какое место, то оно не просто так, не случайно. Взять хоть ту же Салтычиху. Мало ли в Москве монастырей со стенами, но в восемнадцатом году шишаки из ЧК под расстрельную тюрьму выбрали именно Предтеченский, где эта бешеная кикимора тридцать лет в яме просидела, да после призраком маялась. А Лубянка? Когда Дзержинский-Менжинский в Москву из Питера переезжали, они же могли под свою контору любую недвижку взять,

ан нет — поглядели вокруг своими железными глазами и говорят: вот оно, наше место. Желаем сидеть в доме страхового общества «Россия», чтоб всю Россию в страхе держать, а еще нам в масть участок напротив, его тоже приберем. Навряд ли рыцари революции знали, что в том самом месте Салтычиха над крепостными девками зверствовала — это им горячее сердце подсказало.

«Не о том думаешь, Коля, — оборвал глупые мысли капитан. — Время, время!»

— Не попасть мне к твоим сундукам! — крикнул он в тоске. — Никак не попасть!

Крепостница удивилась:

— Да на что тебе золото, Николушка? — Но, услышав, как Чухчев мычит от расстройства, быстро прибавила. — Мне не жалко, бери. А что оно глубоко под землей и сверху, поди, палат-жилья понастроили, так это пустое. Ты ж заговор знаешь. Скажи волшебные слова, и вмиг там окажешься.

— К-какой за...заговор?! — аж заикнулся Чухчев.

— «Губы-раз, зубы-два, помогай разрыв-трава, расступись сыра-земля, дам семитник от рубля». Хороший заговор. Он и под землю пустит, и за каменную стену.

— А...а что ж ты-то тогда двести лет взаперти просидела? — проявил аналитические способности Николай. — Чем в темноте сидеть, гуляла бы себе.

— Ах, Николушка, так ведь сначала надо губы-зубы потереть, а у меня их нету, видимость одна. И рядом никого в телесности не было. Пока ты за мной не пришел. Погоди! — вдруг качнулось к Чухчеву привидение. — А откуда у тебя-то губы-зубы? Нешто ты не дух пустой? То-то я гляжу, вроде как парит от тебя, теплом несет...

«Завалился! Сгорел! Сейчас накинется!» — мелькнуло в голове у капитана, и так ему сделалось жутко смотреть в выпученные глаза чудо-

вища, что он позабыл и про иконку, и про крашеную пулю. Да и, если честно, навряд ли они бы его спасли.

Но Салтычиха на перетрусившего Чухчева не накинулась, а только провела мерцающей рукой сквозь его щеку — будто погладила.

— Пора мне, Николушка, — сказала она ласково-преласково, и ее лицо внезапно перестало быть уродливым. — Если ты живой, это еще лучше. Живи сколько сможешь. Успеешь на зеленое приволье, тебя-то пустят, не бойся. Скажи только, сокол мой ясный, любил ли ты меня хоть сколько? Раз пришел ко мне, бабе злой и безумной, пускай через двести лет, так, может, любил?

И понял тут капитан, что ничего худого она ему не сделает. Да и вообще, часы уже начали бить полночь — сейчас привидение исчезнет. Вон оно уж поплыло, заструилось кверху.

Вполне можно было послать старушку на любое количество букв, тем более что всю ключевую информацию Николай от нее уже добыл. Но чего-то жалко ему ее стало, недоделанную.

— Конечно, любил, какой вопрос, — буркнул Чухчев и, не дожидаясь, пока Салтычиха просочится через потолок, двинул к выходу — не терпелось поскорей взяться за дело.

— Любил?! Люби-ил? — шелестел за его спиной прерывающийся голос. — Ах, счастье-то какое! Ах, горе-то какое! Ах я, крошечница, ах зверища кровавая! Что ж я с вами, девоньки бедные, понаделала? За что мучила, за что смертью извела? Нету мне прощенья!

Под эти завывания Чухчев и выскочил из подклета — как раз на последнем ударе часов.

Час спустя, с бешено бьющимся сердцем, он медленно шел вдоль серой стены массивного здания, выходящего одной своей стороной на улицу Лубянку, другой на Кузнецкий мост.

Висящая над входом камера подозрительно повернулась в сторону ночного пешехода, но, разглядев милицейскую форму, быстро потеряла интерес. Правильно все-таки Николай выбрал профессию.

«...Тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять», — досчитал капитан, остановился и сделал четкий поворот налево.

Сомнений в том, что стена раздвинется и земля расступится, у него не было. По дороге Чухчев заскочил в общежитие, чтоб поменять треуголку на фуражку, и заодно провел эксперимент: встал перед запертой на ночь дверью женского этажа, произнес волшебное заклинание и немедленно оказался по ту сторону. Можно было таким же образом проникнуть в комнату 238, полюбоваться на спящего младшего лейтенанта Лисичкину, но Николай отложил это на потом.

Так что беспокоила его не гранитная стена, а совсем другое. Дважды двенадцать саженой — это что-то типа пятьдесят метров. Вроде глубоко,

но, говорят, под Фээсбухой хрен сколько подземных этажей. Что, если Салтычихин колодезь давным-давно раскопан и там теперь компьютерный зал или какой-нибудь секретный архив?

Камера снова начала разворачивать тонкую шею, и Николай решился.

«Эх, была не была, — подумал он. — Кто не рискует...» Провел пальцем по губам, по зубам, скороговоркой пробормотал заветные слова и сделал шаг вперед, в заclubившееся молочно-белое облако.

Ну, а что с ним случилось дальше, рассказать нельзя, потому что Государственная Тайна. Во всяком случае, в академию он больше не вернулся.

Вот и вся история. Остается только упомянуть об одном маленьком, но примечательном явлении природы, про которое даже поместили заметку в рубрике «Уголок метеоролога».

На одной из могил Старого Донского кладбища — вроде бы той самой, где, согласно легенде, похоронена знаменитая крепостница Салтычиха, расцвел чахлый, бледно-желтый подснежник. Это в декабре-то!

Правда, оттепель была. В отдельных районах столбик термометра поднимался до десяти градусов Цельсия.